Любовь

Автор:
Анджела Картер

Любовь

Анджела Картер

Loft. Современный роман

Анджелу Картер можно назвать современным классиком зарубежной литературы. Она вошла в список «50 лучших британских писателей второй половины XX века» по версии The Times и была отмечена множеством литературных наград, в том числе и премией Сомерсета Моэма.

«Любовь» – это история о нетипичной семье в конце 60-х годов, о деструктивном любовном треугольнике, описанная с хирургической точностью. Можно сказать наверняка: никто не чувствует пульс времени так, как Картер.

Когда весь мир хотел «заниматься любовью, а не войной», три человека вели эмоциональную борьбу с собой и друг с другом.

Ли, его жена Эннабел и брат Базз живут в своем мире, который не имеет ничего общего с реальным – их герметичное существование полнится наркотиками, сексом и алкоголем. В попытках утолить свой эмоциональный голод они не понимают, что поедают друг друга.

[b]Содержит нецензурную брань![/b]

Анджела Картер

Любовь

Предисловие

Когда «Монотоны» в 1958 году поставили музыкальный вопрос: «(Кем написана) Книга Любви?»[1 - «The Monotones» (1955–1962) – американский мужской вокальный секстет в стиле «ду-уоп», известный почти исключительно благодаря песне участников группы Уоррена Дейвиса, Джорджа Мэлоуна и Чарлза Пэтрика «The Book of Love». – Здесь и далее примечания переводчика.], Анджелу Картер они в виду не имели: ее третий роман «Любовь» вышел в 1971-м. Но и окажись они в силах заглянуть в будущее, вероятно, не выбрали бы ее творцом Любви. Ви?дение любви у Картер – богемное, унылое и, по сути, несовместимое со стилем «ду-уоп». В ее «Любви» она отказывается от любых нежных притягательных черт этого явления в пользу той любви, какая заслуживает порицания, безумна, извращена, несколько кровосмесительна и опасна для тех, кого угораздит попасть ей в когти.

Вас это не удивит, если вы читали другие книги Анджелы Картер. Как раз такова «Кровавая комната»[2 - Пер. О. Акимовой.], и оказаться персонажем рассказа Анджелы Картер – значит поддаться воздействию хищной эмоции. В «Любви» страданья треугольны, главные герои неловки, повинуются инстинктам и артистичны так, как были б артистичны венерины мухоловки, будь они людьми.

«Любовь» – блистательный роман, на который обращают далеко не достаточно внимания, да и еще более блистательные последующие произведения Картер затмевают его. Хотя все, что происходит в «Любви», возможно в реальном мире, от романа отдает той невозможностью, какой пропитаны другие романы Картер, а также напряженным наблюдением и изобретательностью, что стали отличительными чертами всех ее работ.

Я начала читать книги Анджелы Картер примерно тогда же, когда открыла для себя произведения Маргарет Этвуд и А. С. Байетт – двух писательниц того же поколения, чья проза тоже богата на аллюзии и наполнена своевольными

персонажами, борющимися с ожиданиями общества. Часто персонажи эти оставляют попытки вписаться в него – они не были искренни с самого начала – и преобразуются в свои подлинные «я»: трудные, особые и полные сюрпризов. Произведения Картер изобилуют такими людьми, и Эннабел, антигероиня «Любви», – одна из лучших. Она таинственна, пронырлива, эмоционально вывихнута и все же по-роковому привлекательна. Эннабел, ее муж Ли и брат Ли Базз танцуют менуэт измены, ревности и саморазрушения. В первой же сцене книги мы видим, как Эннабел съежилась под небом, в котором одновременно видны солнце и луна, и тема эта повторяется в стыковках всех персонажей: то, что не должно быть вместе, оказывается вместе. «Любовь» – хроника притяжения и отвращения в этом крохотном мирке трех человек.

В 1987 году Картер добавила насмешливое послесловие, в котором жизнь персонажей развивается дальше и комментируется; без него книга чрезвычайно готична и мрачна. Все, чего в последующих своих произведениях она добивается при помощи сверхъестественного и различных спецэффектов, в «Любви» она достигает, всего-навсего поселившись в причудливых сознаниях Эннабел, Ли и Базза, просто позволяя делать свое дело взаимному непониманию.

Анджела Картер скончалась от рака в 1992 году. В некрологе, напечатанном в «Нью-Йорк Таймз», Салман Рушди писал, что она «натягивала нос, оскверняла священных коров. Ничего не любила она больше окаянного – но и блаженного – несогласия. Книги ее снимают с нас оковы, опрокидывают статуи напыщенных, ровняют с землей храмы и комиссариаты праведности. Силу свою, живучесть они черпают во всем, что неправедно, незаконно, низко. Нет им ровни – и нет соперника». Произведение ее – дом во сне, где всякая комната уводит во всякую другую комнату; не имеет значения, где войдете в него, – все равно в итоге окажется, что вы исследуете все его углы и закоулки. Впервые ли взяли вы ее книгу в руки или же давний ее поклонник, перевернув эту страницу, вы вступите в завершенный и беспредельный мир Анджелы Картер.

Одри Ниффенеггер,

2006 г.

Любовь

Однажды Эннабел увидела в небе сразу солнце и луну. От этого зрелища ей стало так жутко, что ужас поглотил ее полностью и не отпускал, пока ночь не завершилась катастрофой, – ведь инстинкта самосохранения у Эннабел не было, когда перед нею вставали двусмысленности.

Случилось такое, когда она шла домой через парк. В системе соответствий, какими она толковала мир вокруг себя, парк этот имел особое значение, и она ходила по его заросшим тропинкам с боязливым удовольствием – особенно зимой, когда свет порою бывал желтым, тускловатым, деревья – голыми, а солнце на закате окаймляло ветви холодным огнем. Садовник XVIII века разбил парк так, чтобы тот окружал особняк, который давным-давно снесли, и некогда гармоничная искусственная чащоба, беспорядочно взъерошенная временем, теперь расползлась своими зелеными зарослями по всему уступу высокой горки, от которой рукой подать до оживленной дороги, проходившей мимо городских доков. От прежнего особняка осталось лишь несколько архитектурных придатков – ныне собственность городского музея. Конюшня, явно выстроенная когда-то по эскизам миниатюрного Парфенона – жилище скорее для гуигнгнмов, чем для нормальных лошадей: ни один конь больше не вступит в портик с колоннами, особенно зрелищный при полной луне, элемент чистой декорации, центр композиции зеленых насаждений на южном склоне, куда Эннабел забредала редко – безмятежность ей быстро наскучивала, а средиземноморский колорит этого участка не возбуждал. Она предпочитала готический север, где в деревьях таилась овитая плющом башня со стрельчатыми окошками в свинцовых переплетах. Оба эти причудливых каприза архитектуры держали под замком, опасаясь вандализма, но одно их присутствие играло предназначенную роль – парк оставался тщательно продуманным театром, где романтическое воображение может разыгрывать любые спектакли, какие только впишутся в декорации классической гармонии или старомодной зауми. К тому же волшебную странность парка усиливало странное безмолвие. Шаги по высокой траве звучали мягко, птицы почти не пели, однако окрест расползался бурливый город, и как бы ни глушились его шумы, тишина здесь казалась неестественно призрачной, будто парк затаил дыхание.

Сюда вели только одни ворота, все еще внушительные на вид – массивные, чугунные, украшенные херувимами, звериными масками, стилизованными рептилиями и пиками, с которых давно слезла позолота; но ворота эти никогда толком не открывались и не закрывались. Створки висели слегка

приотворенными, поникнув от старости на петлях; никакой цели они не служили, ибо все ограды кругом давно исчезли и бродить по парку можно было совершенно свободно и легко. Он размещался на такой возвышенности, что, казалось, парил в воздухе над огромным туманным макетом города, и те, кто в него забредал, остро чувствовали свою наготу пред ликом стихии. Временами казалось, что парк пригоден лишь для игрищ ветров, а порой – что он лишь сточная канава всем дождям, какие только способно вылить на землю небо.

Эннабел шла через парк именно в сезон пронизывающих ветров и мертвенной погоды, в ранних зимних сумерках – и вдруг ни с того ни с сего посмотрела на небо.

Справа от себя она увидела на склоне залитый солнцем район террасных домов и полукружий переулков, где жила сама, а слева, над шпилями и небоскребами городского центра, в расселине абсолютной ночи недвижно висела луна. Хотя одно светило садилось, а другое восходило, и солнце, и луна сияли так ярко, что сами небеса разделились на два отрицающих друг друга состояния. Эннабел не могла отвести глаз от этой высоты – ее ужаснул такой кошмарный бунт против привычного. Ничто в ее мифологии не умело разрешить для нее этот конфликт, и она мгновенно ощутила себя беспомощным шарниром вселенной, точно солнце, луна, звезды и все воинства небесные вращались вокруг нее, своей безвольной оси.

Она кинулась прочь с тропинки, в высокую траву, ища от небес укрытия. Брошенная на растерзание стихиям, она металась и петляла, все движения ее были столь изменчивы, будто ее несло капризными ревущими ветрами, ее краски стали столь неясными, их так перемешало наступавшими сумерками, что и сама она казалась лишь излучением этого места или времени года.

На гребне горки она воздела руки, словно яростно сдавалась, и, рухнув с тропинки вбок, забилась в заросли утесника, где некоторое время лежала, постанывая, не в силах перевести дух. Ветер запутал в колючках отбившиеся пряди волос, подкрепив тем самым ее наитие: нельзя сдвигаться с места ни на дюйм, пока ужасный, двусмысленный час не растворится в ночи целиком и полностью. Там она и осталась – обезумевшая девушка, распластанная по шипастому кусту, трепеща от ужаса, переживая муку, что часто навещала ее, даже когда она среди ночи теснее прижималась к светлому телу своего молодого мужа: тот спал рядом и ведать не ведал о ее снах, хоть и был мальчиком красивым, и кто угодно мог считать, что он в полной мере

заслуживает усилий любви.

Она же мучилась ночными кошмарами, пересказывать которые ему было слишком жутко еще и потому, что главным действующим лицом в них часто выступал он сам – во множестве отвратительных ночных обличий. Иногда и днем она замирала перед каким-нибудь знакомым предметом, ибо тот, казалось, только что стал самим собой, лишь за миг до того изобразив по собственной прихоти нечто диковинное: имелось у нее это свойство – менять внешний облик реального мира; такую цену платят те, кто смотрит на него слишком уж субъективно. Все, что постигала Эннабел своими чувствами, воспринималось лишь как объекты для экспрессионистской интерпретации, и в повседневных вещах она видела мир мифических жутких форм, в существовании которых была убеждена, но никогда ни с кем о них не заговаривала; да и вообще не подозревала, что будничная, чувственная людская практика может формировать реальный мир. Когда же она обнаружила, что такое возможно, для нее это стало началом конца, ибо откуда ей было взять понятие обыденного?

Деверь однажды преподнес ей набор порнографических открыток. Эннабел рассеянно приняла подарок, даже не оказав деверю чести задуматься о сложных мотивах такого подношения, и одну за другой рассмотрела картинки с каким-то отстраненным любопытством. Угрюмая размалеванная девица, основное действующее лицо (туловище и ноги затянуты в черную кожу, промежность оголена), безразлично таращилась в объектив, словно говоря: какая мне разница, что мне в каждую дырку тела чего-то напихали; своим непристойным делом она занималась без наслаждения и без отвращения, скорее с абстрактной точностью геометра, так что все эти ничем не приукрашенные сочетания гениталий – сама противоположность эротике – выглядели холодными, как Россия в глухую морозную ночь, и могли только оскорблять. Эти безразличные аранжировки причудливо перекрещенных линий успокоили и ободрили Эннабел: она поняла, что картинки говорят правду. Самой ей хотелось от жизни только вялого, белого и бездвижного лица, похожего на лицо шлюхи с фотографий, чтобы сама она за ним могла жить спокойно; Эннабел слишком часто приходила в ужас от того, что изображения вокруг начинали вдруг шевелиться, как она считала, по собственной воле, а она не могла ими управлять.

Потому фотографии эти стали картами в ее личной колоде таро и означали любовь.

Дожидаясь заката, она могла вволю освежать и приукрашивать свой первоначальный ужас, и в конце концов ее охватила убежденность: именно сегодня вечером закат не растает, а навеки завязнет над горизонтом, ей же придется остаться пригвожденной к склону. Когда такое случалось, она думала о своем муже – вот где безопасное место для нее, – хотя, оставаясь с ним лицом к лицу, не умела рассказать ему о своих страхах, ибо единственным посредником между ее внутренним опытом и обыденным был его брат; и на сей раз он спас ее, и она начала доверять ему чуточку больше.

Но когда она впервые увидела паренька, ставшего ее деверем, он перепугал ее больше, чем что бы то ни было в жизни до тех пор.

Еще до свадьбы, когда она просто жила с Ли, в то время – студентом, – одним февральским днем Ли пришел домой с лекций и обнаружил, что из Северной Африки неожиданно вернулся его брат. Пришелец сидел на полу перпендикулярно стене, уйдя в складки черной тунисской накидки с капюшоном, скрывавшей все его тело, кроме длинных пальцев, которыми он тревожно барабанил по колену. В такой же позе в другом углу комнаты, занавесив лицо волосами, сидела Эннабел. В комнате висел дух взаимного недоверия. Ли бросил на пол сетку с продуктами и принялся ворошить умиравший огонь в камине.

– Привет, Алеша, – сказал Базз.

Ли опустился перед ним на колени, обнял и поцеловал.

– У меня есть доза, – отчетливо и точно вымолвил Базз.

– Есть хочешь?

Базз мягко проследовал за Ли в кухоньку и, обхватив его со спины, сдавил основание горла кончиками пальцев; Ли обмяк.

– Мне она не нравится, – сказал Базз и отпустил брата.

Когда Ли снова смог говорить, он произнес:

– Попробуй еще раз на мне эти свои приемчики, блядь, и я тебя о стенку приложу.

– Дурные… – с усилием вымолвил Базз, – …флюиды…

Ли пожал плечами и разбил яйцо в сковородку с нагревшимся маслом.

– Но мне она не нравится! – по-детски капризно взвыл Базз. Стараясь спрятаться, он запахнулся в накидку. – А ты ее шворишь, правда? Всю ночь ей ввинчиваешь.

Ли пригрозил ему кухонным ножом, и он отстал, хныча, поскольку ножи – его любимое оружие – всегда производили на него огромное впечатление, если ими в него тыкали. Он по-собачьи съежился на полу перед тарелкой, накрывшись черной накидкой, как палаткой, а Эннабел осталась сидеть, где они ее оставили, в темноте.

– Это мой брат, – благодушно сказал Ли.

– Что с ним?

– Гонорея.

– Чего-чего?

– Венерическое заболевание, – пояснил Ли.

– А кроме того?

– Он урод.

Несколько минут она, похоже, размышляла над этим. Потом произнесла:

– Иди сюда.

Она обняла Ли с таким неожиданным пылом, что его пробило дрожью, и он залепетал ее имя и принялся гладить руками ее тело. Когда они завалились на

пол, в комнате вспыхнул свет и на них упала тень Базза – ангела-мстителя, ибо он воздел руки так, что складки накидки стали похожи на крылья. Не разбирая, где кто, он накинулся на них обоих и, застав Ли врасплох, вскоре успешно одолел его; приняв традиционную позу победителя, уперев колено Ли в живот, он прорычал:

– Но если я тебя еще когда-нибудь за этим застану!..

Однако время шло, и Базз с Эннабел превратились в каком-то смысле в соучастников – а затем и вовсе перестали включать Ли в свои замыслы: он не понимал ни его, ни ее, хотя любил обоих.

Базз никогда не выходил без фотоаппарата; в тот январский вечер, когда обнаружил ее на склоне, едва приметив ее знакомое угловатое тело, вытянувшееся под кустом в странном свете, он успел сделать несколько снимков без ее воли. Затем встал перед нею на колени, не произнося ни слова, – пока не осталось ничего, кроме честного лунного света, – и только после этого отвел ее домой, в квартирку на викторианской площади, где они жили втроем. Она стояла на темном крыльце, нашаривая ключ озябшими пальцами, еще не гибкими от страха, и те все время путались в сумке, где также лежали ее альбомы для набросков и еще кое-что: оловянный солдатик, три тюбика белой гуаши и шоколадный батончик, который она в тот день украла в столовой. В сумку залез Базз, нашел ключ, забрал батончик, поцеловал ее в щеку и сбежал, потому что в тот вечер созывал в квартире вечеринку и ему еще нужно было готовиться. Ему нравилось устраивать вечеринки, ибо он постоянно надеялся, что, если в одном месте пересекается столько людей, непременно должно произойти что-нибудь ужасное. Как обычно, пребывал он в подавляемом нервическом возбуждении.

У них в комнате Ли валялся лицом вниз на ковре перед камином – наверное, спал. Стены вокруг него были выкрашены в темно-зеленый цвет, и на этом фоне выделялись обычные тоскливые атрибуты романтизма: лесные пейзажи, джунгли и руины, населенные гориллами, деревья со зверьем на ветках, крылатые мужчины с поросячьими мордами и женщины с черепами вместо голов. Громадная кровать из тусклой, поскольку редко чистившейся, латуни, застеленная узорчатым покрывалом из индийского хлопка, занимала всю середину комнаты – просторной и высокой, но в ней размещалось так много громоздкой темной мебели (кресел, диванов, книжных шкафов, буфетов, круглый стол красного дерева, застеленный алой плюшевой скатертью с

бахромой, ширма, облепленная побуревшими от времени вырезками), что по комнате приходилось перемещаться очень осторожно, дабы не ушибиться. На окнах висели тяжелые бархатные шторы – стоило их задеть, и поднимались клубы голубоватой пыли; пыльный налет покрывал и все остальное. На каминной доске, среди всякого беспорядочного вздора – заводных игрушек, разнообразных камешков, пузырьков и баночек, – лежал конский череп.

Вся эта разномастная коллекция, казалось, пульсировала немой, непостижимой символической жизнью; все, что Эннабел притягивала к себе, вызывало у нее в уме какие-то соответствия и потому служило осязаемыми уликами ее секретов, а вся комната говорила о герметической духовной алчности. По-своему Эннабел была сквалыгой. В этой гнетущей комнате Ли казался неуместен – словно пастушок в берлоге ведьмы, – ибо ему всегда сопутствовало крестьянское или деревенское дуновение свежего воздуха. Он лежал на ковре и водил пальцем по вытертой основе. Эннабел вошла почти беззвучно, но он услышал и поднял голову. Глаза у него были яснейшей, прекраснейшей, насыщеннейшей синевы, но их постоянно окружало красноватое воспаление. Он протянул руку и поймал ее за одну босую ногу – обе заляпаны мокрой землей со склона.

– Опять по могилам бродила. – Он никогда не воспринимал этой ее запредельности всерьез. – Смотри, голубушка, так и самой помереть недолго.

Эннабел впустила сквозняк, и местная вечерняя газета разлетелась на отдельные листы. Ли перехватил один и показал на смазанную фотографию:

– Джоэнн. Джоэнн Дейвис. Учится в моем классе. Я ее учитель. Боже милостивый, ну как за такое оценки ставить?

На жизнь он зарабатывал преподаванием в школе – общеобразовательной. Ученицей его оказалась пышная блондинка в купальном костюме, и через всю ее грудь тянулась лента, на которой сообщалось, что она победила в каком-то мелком конкурсе красоты. Блондинка обнажала зубы в улыбке столь же блистательно искусственной, как у акробатов.

– У нее нет тяги к знаниям, – сказал Ли. – Шестнадцать лет. Я для нее старик. Я для нее – мистер Коллинз и даже иногда «сэр».

Ему самому исполнилось двадцать четыре – много настолько, чтобы это его печалило, однако Эннабел безразлично поворошила газету босыми пальцами. Ее еще до того переполнял ужас парка, что она едва могла думать о чем-то другом и приходилось тщательно репетировать про себя даже самую простую фразу, – и только после этого она спросила, готов ли ужин: так, чтобы дрожь в голосе не выдала ее смятения. Ли кивнул и отказался от попыток просто поболтать с нею; они вообще мало разговаривали друг с дружкой. Она уклонилась от его объятия и прошлепала на кухню – проверить, что он приготовил: вдруг в кастрюльке змеи и пауки, – а Ли тем временем поднялся с ковра и нашарил в ящике громадного буфета, украшенного маленькими резными львиными головами с латунными кольцами в носах, ее антикварную кружевную скатерть. Он не слышал, как она снова вошла в комнату, но увидел, что она вдруг материализовалась в пыльной поверхности буфетного зеркала – слегка покоробленного, отчего лицо ее словно бы отражалось в воде. В кухне все оказалось как должно, и она одарила Ли улыбкой такой неожиданной сладости, что он обернулся, стиснул Эннабел в объятиях и зарылся лицом ей в волосы, потому что у него был роман с другой женщиной, чего можно было только ожидать.

– Чем ты сегодня занималась, любимая?

– Рисовала натурщика, – безразлично ответила Эннабел.

Ее очевидное безразличие к миру за пределами своего непосредственного восприятия перестало задевать Ли, но не уставало изумлять: сам он всегда старался быть счастлив как только мог. Они жили вместе уже три года, но по-прежнему, оставаясь с Эннабел, Ли чувствовал себя одиноким исследователем в неведомой стране и без карты. Настоящие путешественники редко улыбаются: то, что им пришлось пережить, навсегда стирает улыбки с их лиц; пока что Ли не был готов влиться в их избранное аристократическое общество, хотя уже сильно изменился по сравнению с тем, каким был раньше, и его изумительная улыбка вспыхивала гораздо реже, чем в те дни, когда они с Эннабел еще не были знакомы, ибо тогда он был совершенно свободен.

Свобода эта стала результатом необычного стечения обстоятельств. Ни сам Ли, ни его брат не несли по жизни те имена, с какими родились. Ли перенес три смены имени: от Майкла к Леону и затем к тому, которое выбрал сам, уменьшительному, заимствованному из какого-то ныне забытого вестерна, который посмотрел в киношке одним субботним утром, – Ли, – и надменно

сохранил его, став взрослым, раз не стыдился собственного романтизма. Тетка, воспитавшая обоих мальчиков, поменяла его имя на Леон в честь Троцкого. Замечательная женщина – повариха, профсоюзная уполномоченная, она не покладая рук трудилась, чтобы вырастить мальчишек, и смогла внушить им чувство собственного достоинства и некую суровую требовательность, которые они, повзрослев, проявляли в достаточной мере каждый по-своему, хотя совсем не так, как одобрила бы тетка.

Базз же переименовал себя сам. Когда ему было четыре года, он выбрал этот таинственный слог из титров телевизионного мультика, а потом всегда настаивал, чтобы его называли только так и никак иначе – без фамилии, без ничего; ни на какие другие имена не отзывался, а потому кличка вскоре прилипла к нему навсегда. Он говорил, что любит это слово, потому что оно долго висит в воздухе после того, как он уходит, однако Ли подозревал, что ему просто нравится доставать всех этим звуком. Их первую фамилию тетка поменяла на свою односторонним обязательством после того, как их мать, ее сестра, лишилась своего общественного лица настолько зрелищным манером, что стала легендой в том районе, где они жили.

На День империи[3 - День империи праздновался в Великобритании с 1903 по 1958 г. 24 мая в день рождения королевы Виктории (1819–1901).] в начальной школе, где учился Ли, организовали утренник – вывешивали флаги, показывали патриотические живые картины и танцевали народные танцы. Праздник достиг кульминации, когда группа избранных малышей в парадных костюмчиках выстроилась на игровой площадке: на шее у каждого висела на тесемке карточка с буквой, и вся шеренга гласила: ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО ИБО ТАК ПРАВИЛЬНО, – такой кантианский императив был девизом школы. В тот ветреный июньский день на шестилетнем Ли висела буква «С», когда его мать, нагая и вся разукрашенная каббалистическими знаками, ворвалась на запруженную народом игровую площадку и рухнула на асфальт прямо перед ним, корчась и рыдая.

Достигнув сознательного возраста и усвоив теткино достоинство, Ли радовался, что мать свихнулась элегантно. Намерения ее были совершенно ясны, а поведение невозможно было объяснить иначе, как началом живописного психоза в лучших импозантных традициях бедламитов прежних времен. К безумию она пришла не по задворкам неврозов, как не позволила медленно окутать себя ночи безмолвия и тьмы; нет, она избрала главную магистраль, оперно сорвав с себя одежды и возопив во всеуслышанье:

– Я вавилонская блудница. – Тетка время от времени водила Ли к ней в больницу, но мать в себя не приходила и уже не узнавала их, будто и в лучшие времена они были просто случайными и незапоминающимися знакомыми. Поэтому вскоре после того, как они переехали жить к тетке, та увидела определенную логику в желании ребенка, когда младший брат решил изменить свое имя. Она сделала то же самое для Майкла, а их прежнюю фамилию вымарала и переписала на свою.

На улице, где в детстве жили с теткой братья, казалось, всегда стоял воскресный полдень. Теперь все труднее найти такие улочки, хотя прежде они существовали в огромных количествах во всех крупных городах: тихие и аккуратные, стенка к стенке, домики мастеровых, где солнечные лучи причудливо и мило освещают потрескавшуюся брусчатку и закопченный кирпич, а ветерок никогда не кажется промозглым или буйным. Летом парадные двери занавешивают выгоревшей холстиной – защитить от солнца остатки краски, еще не покоробленной солнцем прошлых лет, – а старики в рубашках с коротким рукавом сидят снаружи на табуретках, словно их самих выставили на улицу проветриваться. На низеньких подоконниках можно заметить то остывающий пирог, то застывающее желе; а вот спит кошка; сами же окна прикрыты грубыми кружевными занавесками или являют напоказ пыльные безжизненные растения в зеленых глазированных горшках и гипсовых восточноевропейских овчарок, хотя время от времени удается заглянуть в эти крохотные бурые гостиные, где на стенах мигает пламя камина, – казалось, зимой эти комнаты сулят все тепло на свете. Такие сцены городской пасторали сплошь проникнуты кроткой респектабельной безмятежностью. Вот на такой улочке, за кружевными фестонами, в комнате, набитой пожелтевшими брошюрами, их тетка по-революционному беззаветно отказывалась сдаваться раковой опухоли. Умирала она целое лето, душное и тягостное, но умирала неизменно великолепно. Той осенью Ли уехал в университет, и Базз покинул Лондон вместе с ним. А на следующий год Совет Большого Лондона[4 - Лондонский муниципалитет, координировал деятельность советов 32 городских районов и Сити с 1965 по 1986 г.] снес их старую улочку, и на их долю осталось лишь несколько воспоминаний.

Братья поселились вместе в университетском городке. Ли был юным пахарем, Базз – ночной птичкой; Ли был сентиментален, Базз – злонамерен; чувственность Ли уравновешивалась только извращенностью Базза, но они держались вместе, потому что остались одни в целом мире, с которым, как оба чувствовали, были на ножах. Передвигались оба с оглядкой, изумительной собранной походкой бандитов Старого Запада, и были очень обидчивы. Чувствовалось в них что-то от

гостей, которые не намерены долго засиживаться. Безумие матери, сиротство, теткина политика и их собственное произвольное самоопределение сформировали в обоих какую-то яростную отстраненность, ибо именно отстраненность они считали необходимой для того, чтобы сохранять свою зыбкую независимость. С младых ногтей они привыкли драться, хотя Ли это удавалось лучше.

Ли был честным сиротой; отец его работал на железной дороге и погиб при исполнении, однако вдова после смерти мужа пошла по рукам, и отцом Базза стал американский военный, от которого не осталось потом ничего, кроме грубого серебряного перстенька с черепом и скрещенными костями. По этой тени Базз потом воссоздал образ подлинного дикаря. Он пришел к убеждению, что человек этот был индейцем, а в доказательство предъявлял собственные прямые и жесткие волосы цвета копоти, высокие скулы и землистый цвет лица. Иногда в любимчиках у него ходило племя апачей, но когда он бывал менее агрессивен, то думал, не могавк ли он: Базз совершенно не боялся высоты и часто бродил по крышам. Ли пошел в среднюю классическую школу, а Базз – в среднюю современную. И там, со страстным упорством, вызывавшим невольное уважение брата, стойко отказывался учиться чему-либо полезному.

Время от времени он устраивался на фабрики, в доки, обслуживать столики или мыть посуду в кафе. Когда не работал, существовал за братнин счет или подворовывал. Ростом он был выше Ли и одевался в рванину. У него не имелось ни талантов, ни склонностей – с толку сбивали только острый ум и безжалостная самопоглощенность. Руки у Базза были длинные и худые, точно их создали специально, чтобы тырить и красть, а ногти он обгрызал чуть ли не до основания. Он сознательно жил в мелодраматическом напряге; однажды, заполняя какую-то анкету для устройства на работу, которой он так впоследствии и не получил, в графе ИНТЕРЕСЫ написал два слова: секс и смерть.

– Давай не будем преувеличивать, – мягко сказал ему Ли.

Сам Ли походил на Билли Бадда[5 - Герой последнего романа американского писателя Хермана Мелвилла (1819–1891) «Билли Бадд, формарсовый», опубликованного посмертно в 1924 г.], советского героя труда или паренька из книг Джека Лондона. Среднего роста крепыш, с голубыми глазами, как у мореплавателя, отчасти еще и потому, что кожа вокруг всегда была немного покрасневшей: ребенком в трущобах он подхватил какое-то воспаление, от которого не смог избавиться и повзрослев. Волосы соломенного цвета, лицо

свежее, и только дыра на месте переднего зуба не позволяла думать, что перед нами простофиля, поскольку сообщала его щелястой, но ослепительной улыбке определенную двусмысленность. Как большинство тех, кому посчастливилось родиться хоть с какой-то долей физической красоты, он еще в ранней юности стал очень застенчив и настолько глубоко осознавал, как действует его внешность на других людей, что к двадцати годам производил впечатление совершенной естественности, крайней непосредственности и вообще сердечной теплоты.

– Алеша, – с презрительным восхищением говорил о нем Базз. – Чертов Алеша.

Манера Базза говорить сводилась к нервирующим паузам, перемежаемым редкими взрывами напряженной, но редко связной речи. Его огромные глаза под тяжелыми веками (радужки большие и темные, а зрачки белесые и мерцающие) на неподвижном лице приводили в замешательство так же, как если бы вдруг ожили настоящие глаза тех масок, которые древние египтяне рисовали на крышках своих саркофагов. Безумие матери он переживал особенно тяжело: ее прочное маниакальное заблуждение, что этого землистого черноволосого младенца, дитя зловещего незнакомца, коснулась рука сатаны, до некоторой степени исказило его развитие, а кроме того, отравило всю жизнь ощущением, что он, должно быть, создан для какой-то особенной судьбы, хоть и не имел ни малейшего представления, что это может быть за судьба. Ли же весь просто бурлил искренним заразительным добродушием, хотя их обоих окружало отчуждение; оба хорошо понимали, насколько они диковинны. Друг с другом они ладили, и никому не приходило в голову, что они могут жить раздельно.

Они безразлично плавали по зыбкому мирку где-то между художественной школой, университетом и комиссионными лавками и на преходящее жительство прибились к террасам довольно крутой горки, где в ветхих домишках обитали ирландцы, вест-индцы и студенты более авантюрного склада: квартплата была там низкой. Братья держались необычайно замкнуто, поэтому о них редко упоминали порознь, а всегда называли братьями Коллинз, точно каких-нибудь бандитов. Об этом они отлично знали и поощряли такую практику. Но в ту зиму, когда Баззу исполнилось восемнадцать, он вдруг сорвался в Северную Африку с компанией знакомых, а Ли остался один в той квартирке, которую они в то время занимали, – продолжать учебу. Квартирку они считали еще одним временным пристанищем; на самом же деле прожили в ней несколько лет. Ей суждено было стать им домом.

Квартира состояла из двух комнат, разделенных хлипкими двойными дверьми, и кухни, выгороженной древесными плитами из передней части одной комнаты. В этой передней комнате, где обитал Ли, имелись высокие окна, выходившие на балкон; в то время комната была совершенно гола, если не считать будильника на каминной полке и некоторого количества книг, хитроумно положенных одна на другую. Во встроенном буфете вместе с одеждой Ли хранил матрац и каждый вечер оттуда его выволакивал. Комната была просторной; стены и половицы выкрашены белым. Эхо разносилось в ней от малейшего звука или движения, и Ли по японскому обычаю снимал в доме обувь. Да и ходил очень тихо.

В то время комната его всегда была необычайно чиста – белая, как палатка, – и так же легко, как палатку, ее было убирать; но то не была аскетическая нагота. Из-за белизны своей и цельного пространства комната причудливо реагировала на время суток, изменения погоды и смену времен года. Она постоянно видоизменялась – совершенно независимо от желаний Ли. В ней ничто не отбрасывало тени, кроме движений самого хозяина и его брата, хотя ветви деревьев на площади дрожали в ее сияющем интерьере разнообразными смутными очертаниями, а по ночам городские огни таинственно играли на безграничных стенах. Когда Ли открывал окно, внутрь врывались ветры.

Обставленная лишь светом и тенью, комната обладала свойствами анонимности и непостоянства. Штор на окнах не висело, ибо комната была столь нерушимо лична, что в ней просто нечего было скрывать – так мало она являла. Таким способом Ли выражал свою жажду свободы; все годы позднего отрочества свобода была его единственной великой страстью, а главным условием свободы, казалось ему, может быть лишь отсутствие собственности. С женщинами он тоже держался холодно и отстраненно, ибо еще одним необходимым условием такого состояния была свобода от обязательств. Поэтому сентиментальность его нашла выход в поисках метафизической концепции вольности. Когда ему было тринадцать, а Баззу – одиннадцать, он убедил брата сбежать с ним на Кубу, чтобы сражаться за Кастро. Из книжного магазина «У. Х. Смит» Базз спер испанский разговорник, и они добрались до Саутэмптона, где их перехватила полиция. Тетка была в ярости, но очень довольна. Поступок их был принципиальным выплеском той чистой сентиментальности, которая для Ли стала в каком-то смысле первейшей добродетелью, потому что, когда он стал постарше, сентиментальность часто заставляла его идти наперекор желаниям.

Из Марракеша Базз прислал Ли на Рождество немного гашиша, завернутого в джеллабу, и братья не виделись полгода. За это время Ли познакомился с

женщиной, которая впоследствии стала его женой; новогодним утром он проснулся на чужом полу и обнаружил у себя в объятиях незнакомую девушку. Та открыла глаза, и какой-то голод, какое-то отчаяние в ее узком лице поразили Ли прямо в нежное сердце. Комната полнилась тьмой, тишиной и стоялым воздухом. На диване под пейслийской шалью сплелись какой-то юноша и какая-то девчонка; он заворчал во сне, а по полу процокала мышка. Нежданная гостья Ли резко повернула на шум голову, содрогнулась и заплакала. Он забрал ее домой и накормил завтраком. Когда она сообщила, что ее зовут Эннабел, он сразу понял, что она буржуазка, а по нервозности догадался, что она девственница.

Ела Эннабел мало – только пила чай и прятала лицо в ладонях, чтобы он ее больше не разглядывал. Движения у нее были колючие, угловатые, изящные; откуда ему, такому юному, было знать, что он станет мальчишкой-спартанцем, а она – лисицей, что выгрызет ему сердце под туникой? Японские крестьяне перед лисами благоговели, ибо верили, что лисица может проникнуть в тело человека либо через грудь, либо через трещинку между пальцем и ногтем. А оказавшись внутри, заведет с приютившим ее разглагольствования, пока тот окончательно не утратит рассудок; однако у Ли, казалось, не было нужды ее опасаться. Он улыбался ей, перегнувшись через стол, и отводил ее руки от лица – бледного, одни глаза. А узнав, что у нее нет ни единого друга на свете, взял к себе жить.

Она весь день сидела в его белой пустой комнате и смотрела в стену. В промежутках он кормил и ласкал ее. А потом, однажды утром, когда он ушел на лекции, она вытащила свои пастели и на том участке стены, куда обычно смотрела, нарисовала дерево. Она рисовала с такой убежденностью, будто давным-давно уже сделала набросок в уме, ибо дерево было очень замысловатым, пышным, его покрывали цветы и множество ярких птиц. И тогда Ли решил, что время пришло. Как он и догадался, она была девственницей. Он принес полотенце – подтереть кровь. Она спросила: а будет лучше, когда я к этому привыкну? Он ответил:

– Да, любимая, конечно, любимая, – хотя от ее странно остреньких зубок ему стало не по себе, а когда она из чистого любопытства спросила:

– Зачем тебе нужно было со мной так поступать? – он не нашелся, что ответить. Все его сильное и гибкое тело вдруг показалось ему хрупким и ненужным приспособлением; в ее глазах он отражался странными контурами и не мог сказать, каким она его видит – таким, как думал он сам, или нет, – да и вообще,

что она в нем видит своими глазищами, которые от слишком частых слез, казалось, сами приняли форму улегшихся на бок слезинок. Он понял, что может дать ей только физиологический ответ, ее же удовлетворит лишь экзистенциальный, и ему стало грустно; но у нее было к нему еще много вопросов, и вскоре она возложила его руку на свою свежую рану, хотя понуждала ее к этому не страсть, а, видимо, любопытство. Это произошло в очень холодный день под конец января, когда снаружи падал снег.

За два месяца до того, как он ее встретил, Эннабел пыталась покончить с собой, приняв передозу снотворных таблеток, но ее вовремя нашла комендантша общежития. В больнице ей предложили бросить художественную школу и вернуться к родителям, но она обнаружила такие отчетливые симптомы стресса, что самым благоразумным сочли просто вверить ее заботливому попечению комендантши. Та была женщиной лет сорока с лишним, либеральных взглядов и не желала для Эннабел ничего лучше, чем если та наконец найдет себе человека, который ее полюбит. Соседка по комнате взяла ее с собой отмечать Новый год. Эннабел в одиночестве сидела в уголке и рассматривала сначала какие-то старые журналы, которые нашла на полу, затем – фигуры в свете свечей. В них она заметила несколько интересных сочленений форм, одно-два неприятных лица, а потом уснула. Проснулась от того, что замерзла.

Было уже так поздно, что весь свет погасили, а свечи догорели до оснований. Почти все гости разошлись, но одна парочка занималась на диване любовью, а несколько других спали на полу. Эннабел было так холодно, что она произвольно выбрала какого-то парня, подползла к нему и улеглась рядом, чтобы окончательно не окоченеть.

– Это кто у нас тут? – спросил тот наутро. Потом к нему домой зашла комендантша и, разумеется, полностью очаровалась; она решила, что у парня хороший характер, он мил, выдержан, а потому, довольная, передала девушку под его опеку.

Ли не рассчитывал, что она с ним останется, но она осталась. Вскоре она перевезла к нему из прежней комнаты свой проигрыватель. Как он и подозревал, ей больше всего нравились клавесинные пьесы эпохи барокко. Чтобы справиться с ее капризными переменами настроения, он призвал на помощь все запасы такта, нежности и восприимчивости, которые выработал в себе во время последней теткиной болезни; Эннабел оказалась способна на все оттенки меланхолии – от томительной грусти до гнетущего отчаянья. Он привык

заботиться о ком-то, а раз брат был в отъезде, заботился о ней. Она спала с ним рядом и время от времени из чистого любопытства обнимала его. Иногда ему удавалось выжать из нее крохотный ответный трепет, но чаще всего он просыпался утром и видел, что она уже неотрывно смотрит на него своими необычными, светящимися изнутри глазами, точно испепеляет платоническими намеками, понять которые он не в силах. Потом его ненадолго охватывало первоначальное беспокойство, и он подозревал, что ее духовидческий взор пронзил его обезоруживающий панцирь обаяния, а под ним обнаружился кто-то другой – возможно, он сам.

Она привлекала его, потому что он не был убежден в том, какое впечатление на нее производит, и он все больше и больше привязывался к ней – оттого, что она такая странная: странность ее казалась ему качественно иной, но количественно сродни той странности, которую испытывал он сам, как будто оба могли с полным правом сказать миру вокруг: «Мы оба здесь посторонние». Глубоководные рыбы светятся, чтобы узнавать друг друга; так почему мужчинам и женщинам тоже не испускать какого-нибудь бессловесного свечения для тех, кто им близок? Он ощущал какой-то немой контакт с нею; так двух иностранцев, говорящих только на своих языках, влечет друг к другу в третьей стране, языка которой не понимают оба. А кроме того, в самый первый месяц их совместной жизни он спал с супругой своего преподавателя философии, хотя лишь через несколько лет понял, что логичным средством от их с Эннабел неудовлетворенности было бы присутствие кого-то третьего, самодовольного, а еще позднее с ужасом осознал, что и это решение не вполне удовлетворительно.

Женщина эта была лет на пять старше Ли, и он испытывал к ней некое насмешливое расположение, хотя связь продолжал только потому, что был уверен: он для нее ничего не значит, их взаимный опыт пересекается совершенно абстрактным образом, а индивидуальностей друг друга они не признают. Изящная угрюмая брюнетка, мать троих детей. В ней чувствовалось наждачное качество хронически несчастной женщины, и она третировала юного любовника, которого завела из вредности и скуки, с неистовым презрением, если не брать во внимание отдельных мгновений всепоглощающего неспокойства, когда она льнула к нему после соития.

– Это как ввинчивать женской странице «Гардиан», – сказал он Баззу, но ни с кем другим о ней никогда и не заговаривал – не столько из порядочности, сколько от безразличия.

Она организовала все расчетливо и практично. Ли навещал ее дважды в неделю, днем, когда малыши были в детском саду, а также по четвергам вечером, когда их уже укладывали спать, а муж вел факультатив о концепции разума. Любовью они занимались всегда в свободной комнате на голой постели под репродукцией голубого арлекина Пикассо – на рамочке и стекле лежал восковой налет пыли. По ходу всего их романа она ни разу не пыталась выпытать у Ли никаких подробностей о его семье, среде обитания или амбициях; не проявляла к нему абсолютно никакого любопытства. Он полагал, что это очень интересно.

Как бы там ни было, его она вполне устраивала; он испытывал определенное удовольствие от того, что совокуплялся с супругой человека, учившего его этике; большинство вечеров у него оставались свободными; кроме того, с пуританским удовлетворением, унаследованным от тетки, он ощущал, что познает нечто важное о среднем сословии. Но однажды в начале февраля он пришел в четверг вечером и увидел, что у нее настроение – паршивее некуда; и последовал за ней, несколько настороженнее обычного, на неведомую территорию гостиной.

Неведомую, но никоим образом не непредсказуемую. От мелкого белья, развешенного на каминной решетке, поднимался пар. Ли заметил, что она читает «Второй пол»[6 - Книга (1949) французской писательницы-экзистенциалистки Симоны де Бовуар (1908–1986), один из основополагающих трудов по феминизму.] – книга валялась на полу корешком вверх. Стены были бежевыми, над самопальной стереоустановкой висела заумная литография Мондриана, на тростниковых циновках валялись обломки пластмассовой игрушки. Довольный Ли криво усмехнулся про себя – такое выражение лица он обычно предпочитал скрывать от окружающего мира, чтобы оно не выдало ничего лишнего.

Еще стояли холода; он присел на циновку и протянул руки к огню. Может, купить такую же, чтобы Эннабел могла валяться во весь рост на жестких холодных половицах по нескольку часов кряду, подумал он; а то иногда похоже, что она лежит на мраморной плите в морге. Ему не нравилось вестись на такие мелодраматические образы. Его другая любовь – то есть если Эннабел вообще можно определить как его любовницу, – ладно, просто другая женщина – а она Другая Женщина или просто другая женщина? – как бы то ни было, эта конкретная женщина уселась в кресло и поджала босые ноги, как бы защищаясь, став таким образом полностью неприступной. На ней были джинсы и клетчатая рубашка, а длинные темные волосы перехвачены на затылке

резинкой. На пальце она крутила обручальное кольцо – верный признак подавляемого раздражения – и молчала.

Ли покачался с носков на пятки, вытянув руки к электрической решетке. Сегодня он был похож на Барнаби Раджа[7 - Герой одноименного романа (1841) Чарльза Диккенса (1812–1870).]. Мысленно он прошерстил весь свой гардероб улыбок, подбирая ту, что подобала бы такой двусмысленной ситуации. В очень нежном возрасте Ли обнаружил, что с помощью своего ассортимента улыбок может управлять людьми и вскоре научился так облегчать себе жизнь, потому что ему нравилось жить легко; именно такую жизнь он и называл счастьем. Он выбрал улыбку предполагающую и поощряющую; улыбка щелчком встала на место – так гладко, что можно было бы поклясться: Ли распахнул всю свою душу. Едва улыбка материализовалась, женщину прорвало:

– Ты с какой-то пташкой спутался, я слыхала?

– Ну, – медленно ответил Ли, чувствуя неладное. – И что?

Она отмахнулась от него, встала и принялась нервно мерить шагами комнату.

– Я, конечно, едва ли могу рассчитывать, что ты станешь хранить мне верность.

«Так вот оно что!» – подумал Ли и сразу понял, что связи конец. Слова он подбирал очень тщательно.

– Н-ну, не знаю. У тебя есть полное право ожидать, что я останусь тебе верен, но верен я в действительности или нет – это совсем другие пироги с котятами, правда?

Она так бурно металась из угла в угол, что ему стало за нее неудобно: ее поведение в данных обстоятельствах представлялось эмоционально чрезмерным.

– Почему ты сам ничего мне не сказал?

– Не твое дело.

– Спасибо, – с иронией ответила она.

– Послушай, – сказал Ли. – Тебя какая-то муха укусила из-за того, что я бродяжку себе оттопырил.

– Тебя послушать, так ни за что не скажешь, что ты в университете учился.

Тут Ли решил куснуть побольнее.

– Ну вот – ты боишься, наверное, что я тебе мандавошек передам или какую-нибудь еще пакость?

Когда она пнула его босой ногой, он понял, что его анализ верен, и, растянувшись на полу, расхохотался.

– Ты что – сам мне про эту девчонку не мог рассказать?

– А я не из болтливых, – ответил Ли. Он снова присел по-восточному и мстительно обратил на нее всю обескураживающую силу ослепительной улыбки: ему никогда и в голову не приходило рассказывать ей об Эннабел, настолько незначительна для него была эта другая женщина. Пока нельзя сказать, правда, что и Эннабел стала для него что-то значить. Женщина резко прикурила, отвернувшись от него, точно брала себя в руки. Располагающая комната, много книг и газет. Ли прочел названия на паре корешков.

– Ты для меня никто, ты вещь. Объект. Когда я в первый раз с тобой переспала, это был acte gratuit[8 - Милостыня, подаяние (фр.).]. Acte gratuit, – повторила она с некоторым раздражением, поскольку он, казалось, не понял. – Ты хоть понимаешь, что это значит?

Ли назло ничего не ответил.

– Все это было бессмысленно и абсурдно. Бессодержательное действие, но, с другой стороны, вообще все бессодержательно, будто не отбрасывает никакой тени, – кроме моих детей, а я не могу общаться с ними.

Она умолкла. Ли взглянул на нее из-под ресниц, отчасти жалея, отчасти в крайнем раздражении. Молчание затягивалось. Наконец он встал:

– Ладно, мне, пожалуй, пора двигать.

– Крыса ты, – сказала она. – Мерзкий крысеныш.

Ли хотелось только одного: как можно скорее покинуть этот дом, потому он готов был согласиться со всем, что бы она ни сказала. Он коротко кивнул:

– Ага, крысеныш. – И подчеркнул: – Рабоче-крестьянская крыса.

При этих словах она подскочила и заколотила по нему кулаками. Он перехватил ее запястья и один раз ударил. Женщина немедленно сникла и недоуменно поднесла пальцы к щеке.

– У нее смешные глаза, – сказал Ли. – И мне она все-таки нравится, если хочешь знать. Говорит мало. И ей все равно придется уйти, наверное, когда вернется мой брат.

В минуты стресса его правильное произношение, усвоенное в классической школе, давало слабину. Его удивило, насколько он сам разволновался, а также то, что он только что сказал; раз он всегда говорил правду, должно быть, к Эннабел он действительно успел привязаться. Он изумился и моргнул. От хронической инфекции его глаза на свету, от усталости или напряжения постоянно слезились; здесь свет не был ярким, но они слезились все равно. Она отвела от лица руки: прикосновение его кожи стало совершенно невыносимым – и уставилась на него в изумлении, вспоминая его былую физическую нежность. Ее переполняла боль неверия: она поняла наконец, что те ласки были невольными и фактически к ней никакого отношения не имели – не отдавал он ей никакой дани.

– Тебе вообще какого хуя от меня надо? – несколько злобно осведомился Ли. – Хочешь, чтобы я попросил тебя бросить мужа и уйти ко мне?

– Я никогда этого не сделаю, – немедленно ответила она.

– Ну и вот. – Ли вздохнул. Сейчас он не способен оценить оттенков смысла. Дверь может быть либо открыта, либо закрыта, и люди, в общем и целом, говорят то, что хотят сказать. А кроме того, он беден, содержать ее с детьми все равно бы не смог, если б даже хотел. Глаза слезились так сильно, что темный силуэт молодой женщины перед ним мерцал.

– Я могла бы устроить тебе в университете большие неприятности, – сказала она.

Теперь пришла его очередь возмутиться.

– Так, значит, тетка мне правду говорила о двуличии буржуазии?

Взвыл младенец, и мать еле слышно взвизгнула и дернулась. Ли переполняла печальная злость.

– Ладно, кончай, – сказал он. – Ты ведь получила то, что хотела, правда?

– Холодное у тебя сердце, я должна заметить.

– Что?

– Ты меня завалил, а теперь тебе наплевать… – Волосы выбились у нее из-под резинки, лицо пылало.

– Тебя что вообще беспокоит – в смысле, только честно: что тебя так сильно беспокоит?

– Уходи, – ответила она. – Я чувствую себя униженной.

Ли глубоко оскорбился, он был просто потрясен.

– Слушай, как ты вообще можешь считать секс унизительным?

Она запнулась, захваченная врасплох, метнула на него изумленный взгляд и глубоко вдохнула.

– Я могла бы устроить так, чтобы тебя вышвырнули из университета.

– Ну еще бы, – медленно произнес Ли, ибо начал понимать: она так сильно к нему привязалась, ибо считала головорезом. – Ну еще бы; и тогда бы я вернулся и избил тебя до полусмерти, верно? Мы с братаном вместе пришли бы.

Брата она видела один раз на улице.

– Господи боже мой, – сказала она. – Вы б и впрямь пришли.

Наверное, она все это время надеялась, что Ли в нее влюбится и вся эта история обретет хоть немного смысла, но если даже так, он этого не осознавал. Ему казалось, что она пользуется им как экраном, на который можно проецировать собственную неудовлетворенность; честный обмен. У него было очень простое понятие о справедливости.

– Уходи, Леон Коллинз, – сказала она.

Ли понял, что она подсмотрела его имя в мужниных списках группы: никто никогда не звал его Леоном в лицо, даже преподаватели. Но и ее имени он тоже не знал. Вопли забытого младенца летели за ним, пока он спускался по лестнице.

«Что ж, – думал Ли, – век живи – век учись».

Однако он до крайности изумился, и ему было очень не по себе. Дома вся комната звенела от клавесинных арпеджио. Эннабел не следила за камином, и от огня осталось лишь несколько красных угольков, поэтому жаркую тьму пробивали только фары беспрестанно проезжавших машин – лучи мигали в голых окнах и северным сиянием играли по телу девушки на белом полу – единственному предмету, нарушавшему пустоту комнаты, если не считать проигрывателя. Музыка закончилась, иголка принялась икать в пустой канавке. Ли подошел выключить аппарат, и Эннабел поймала его за руку.

– От тебя пахнет улицей, – сказала она. – Но ты был с какой-то женщиной.

– Ну, и да и нет, – ответил Ли, всегда говоривший только правду. – Тебе от этого неприятно?

Слова он произносил очень нежно, ведь беспокойство ее было таким бесстрастным. Она немо покачала головой, и без единого звука по ее щекам потекли слезы.

– Тогда почему же ты плачешь?

– Я думала, ты больше не вернешься.

– Вот как? – Ли был в замешательстве. Ее огромные серые глаза не отрывались от его лица; ему же глаза снова обдало жаром, точно опалило ее метафизическим огнем. Ли показалось, что она требует от него чего-то чудовищного, но он никак не мог истолковать ее требований и, оказавшись в этом странном капкане, задрожал так сильно, что пришлось опереться о пол. Его поразило, настолько его трогает это ее горе – оно казалось подлинным доказательством того, что неким непостижимым для него самого образом он для нее важен. Чем дольше он вглядывался в ее глаза, тем больше росло его смятение, пока в конце концов с облегчением и страхом он не разглядел в ее новом волшебном силуэте очертания того, что нужно любить. Он подумал: «Ох, господи, следовало скорее признать ее». Так его предала собственная стоическая сентиментальность. Ли нерешительно поцеловал девушку, и хотя она не раскрыла губ ему навстречу, но возложила руки ему на плечи, под теплый пиджак. Пальто с себя он стряхнул и расстелил на жестких половицах, чтобы ей было удобнее. Она послушно откинулась назад и не отводила глаз от него, поэтому, проникая в нее, он по-прежнему трепетал от ее пристального взгляда.

Но несмотря даже на то, что они уже признали наступление любви, близость их все равно была проникнута тревогой: Эннабел понимала игру поверхностей лишь поверхностно; она походила на слепца, который на фейерверке может оценить красоту каждого огненного фонтана в воздухе только по громкости воплей толпы. Смутно постигает природу ослепительного блеска, но не знает наверняка.

Вернувшись домой, Базз долго еще кипел злобной ревностью. Квартира имела форму Г-образного танцевального зала, разделенного двойными дверьми; теперь они служили стенкой, но стена эта была очень тонка, и Базз со своей

узкой койки отлично слышал каждое движение и каждый звук влюбленных. Ночи напролет он весь в поту лежал под несомненные скрипы и стоны, корчась и воображая себе их невообразимую близость. Смуглым лицом вжимался в подушку и горько проклинал их; мало-помалу его охватывало маниакальное желание зарезать обоих во сне. Он любовно поглаживал свой марокканский нож и наблюдал за ними днем, а ночью матерился и мастурбировал. Ли понимал, какое напряжение терзает брата, но вскоре слишком озаботился собственными напрягами и больше не обращал на него внимания: он не мог игнорировать того, что плоть не взрывается волшебством в теле Эннабел. Из нее получалось исторгать лишь те слабенькие вздохи и судороги, которые извращенная перепонка брата превращала в вопли и визги. Казалось, Эннабел все больше зачаровывает внешний вид лица и тела Ли, но у нее не было никаких воспоминаний о коже, с которыми можно было бы сравнить ощущение его кожи, и ей, казалось, больше всего нравится лишь та интимность, какую она переживает с ним в постели; раньше она много читала о такой интимности. Она принялась за серию его портретов. Первый – наутро после их первой настоящей ночи вместе, когда некие клятвы лишь подразумевались; на этом рисунке он походил на золотого льва, слишком кроткого даже для того, чтобы питаться мясом. В последующие годы она вновь и вновь рисовала и писала его в стольких разных обличьях, что он в конце концов вынужден был уйти к другой женщине, чтобы понять, как же выглядит его настоящее лицо.

Когда Базз украл первый фотоаппарат, квартира целиком и полностью отдалась культу видимости. Базз будто использовал камеру как орган зрения, словно не доверяя собственным глазам, словно вынужден постоянно сверять то, что видит, с показаниями третьей линзы, поэтому в конце стал видеть все как бы из вторых рук, без глубины. Он проявлял и печатал снимки в своей задней комнатке и увешал ими все стены, пока его не начали окружать замершие воспоминания о самом мгновении зрения; ему было спокойнее знать, что они под рукой и за них можно подержаться. Он без счета фотографировал Ли и Эннабел, и от такого подглядывания ему становилось легче, поэтому напряженность в доме постепенно разрядилась, хотя они часто просыпались утром и видели, что он примостился в ногах кровати и щелкает камерой. Кроме того, он все время таскался за ними следом, заставая врасплох, они попадались ему во всевозможных ситуациях, и часто на готовых снимках лица у них оказывались раздраженными и изумленными. В комнате Базза начали громоздиться картонные коробки с отпечатками и негативами.

У Ли были две старые фотографии, очень дорогие ему. У братьев, кроме этих фотографий, от детства не осталось ничего. На одной шеренга чистеньких

детишек держала буквы, увещевавшие: ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО ИБО ТАК ПРАВИЛЬНО; на другой крупная суровая женщина играла с камерой в гляделки, а братья стояли у нее по бокам. То была их тетка. Братья уже походили на самих себя, хотя одному было одиннадцать, а другому – девять лет, и они слегка откидывались на пятках назад в своей характерной оборонительно-агрессивной позе, однако тетка держалась достаточно несгибаемо, чтобы остановить целый батальон солдат и хорошенько пристыдить их. Эннабел посмотрела сначала на теткину фотографию, потом – на Ли. Поднесла палец к его щеке, стерла слезинку, но ему не хотелось, чтобы она думала, будто он плачет.

– Это не настоящая слеза, любимая; у меня просто глаза легко слезятся.

В действительности слезинка и была, и не была настоящей. Глазная инфекция сделала его слезы двусмысленными. Но раз у Ли было наивное сердце простака, который всегда освистывает негодяя в детском спектакле, очень часто, если он понимал, что плачет, ему обычно становилось грустно. Но были слезы причиной печали, следствием печали или же печаль, приходя, определяла себя для него как реакция на какой-либо произвольный стимул, будь то фотография покойницы, которую он когда-то любил, или раздумья о смертности всего живого, – таких вопросов он пока для себя не выбирал или предпочитал себе не задавать. Поэтому обычно он делал вид, что не плачет, хотя расплакаться ему было легко.

Таковы были две его фотографические иконы – ребенок по имени Майкл и семейный портрет. Базз подарил ему еще одну фотографию – они с Эннабел спят в постели, – и она стала третьей: образ любовника. Ли и Эннабел выглядели на ней как Дафнис и Хлоя или Поль и Виржини[9 - Персонажи повести-притчи французского писателя Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), впервые опубликованной в 1788 г. в его философском трактате «Этюды о природе».]; Ли, опутанный ее длинными волосами, лежал в изгибе ее обнаженного плеча, потому что был ниже ее ростом, и они смотрелись так красиво и мирно, точно самими небесами были предназначены друг другу. Ли хранил эти фотографии в конверте вместе с тремя свидетельствами о рождении; потом к ним добавилось свидетельство о браке. Но причинно-следственной связи между этими тремя лицами на снимках обнаружить он не мог. Дитя, ребенок и подросток или молодой человек, чье лицо оставалось таким новым, неиспользованным и незавершенным, казалось, олицетворяли три конечных и не связанных друг с другом состояния. Глядя в зеркало, он видел лицо, не имеющее ничего общего с теми тремя; его черты уже были отфильтрованы глазами жены

и настолько видоизменились, что перестали быть его собственными. Казалось, никакая логика не связывает разные этапы его жизни, будто каждый достигался независимо, не органическим ростом, а конвульсивными прыжками из одного состояния в другое. По невинности, которую Ли находил в прежних, отброшенных за ненадобностью лицах, он не испытывал никакой ностальгии – только яростное негодование: надо ж было ему быть невинным настолько, чтоб отказаться от своей свободы. Ибо теперь пустая комната, в которой он существовал так же аскетично, как Робинзон Крузо на своем острове, и только Базз служил ему хмурым и неверным Пятницей, – теперь эта комната задыхалась от вещей, покрылась жирными темными красками и наполнилась таким густым угрюмым мраком, что, переступая порог, приходилось набирать в грудь побольше воздуха, точно собираясь нырнуть в другой воздух, плотнее.

В этой таинственной пещере Ли крепко прижимал к себе Эннабел – он знал, что двуличие расцветает от физического контакта. Здесь, где она со своей мебелью тонула в едином сне, у Эннабел, по крайней мере, оставалась форма и какие-то внешние контуры; она была такой же вещью, как диван или буфет со львиными головами. Здесь она была объектом, состоящим из непроницаемых поверхностей. Когда она шла с ним рядом по улице в своей наугад подобранной одежде, тощая и чахлая, то напоминала призрак тряпичницы. Она была высокой и очень худой, руки длинные, и вены на них выступали толстыми пучками, будто на веснушчатых руках старух. Все ноги тоже были оплетены выпуклыми вспухшими венами. Из-за худосочности своей она казалась гораздо выше, чем на самом деле, – карикатурно элегантная, изнуренная девушка с узким лицом и волосами настолько прямыми, что беспомощно ниспадали безмолвной данью силе тяготения. У нее на ногах были очень цепкие пальцы – она могла ими подхватить карандаш и уверенно расписаться. Она воровала.

Ли пришел в ужас, узнав, что она ворует. Из супермаркетов она воровала продукты, а из книжных магазинов – книги; крала краски, тушь, кисти и маленькие предметы одежды. Ее родители были людьми состоятельными, платили ей большое содержание, но она воровала все равно, а Ли всегда расценивал воровство как дело, законное только для бедных. Он считал, что красть как можно больше – для них морально оправданно, а раз деньги даются людям только затем, чтобы покупать вещи и не давать колесу экономики останавливаться, то долг богатых (ступицы этого колеса) – как можно больше приобретать. Тем не менее Эннабел продолжала воровать, несмотря на его суровое неодобрение, и эта склонность среди многого прочего роднила ее с деверем.

Они поженились, когда ее родители узнали о том, что они с Ли живут вместе. Ли сдал выпускные экзамены, защитил посредственный диплом и на университетском педагогическом факультете записался на курсы подготовки учителей. Брат воспринял его действия с брюзгливым презрением, однако Ли вынужден был содержать своих домашних, которые не могли или не хотели делать этого сами. Эннабел поставила родителей в известность, что у нее изменился адрес, но никаких дальнейших подробностей не сообщила, и те сделали вывод, что она просто поселилась в квартире с другой девушкой. Время от времени она их навещала, а под конец лета, заехав в город по пути в Корнуолл, они ранним утром просто позвонили в дверь.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«The Monotones» (1955–1962) – американский мужской вокальный секстет в стиле «ду-уоп», известный почти исключительно благодаря песне участников группы Уоррена Дейвиса, Джорджа Мэлоуна и Чарлза Пэтрика «The Book of Love». – Здесь и далее примечания переводчика.

2

Пер. О. Акимовой.

3

День империи праздновался в Великобритании с 1903 по 1958 г. 24 мая в день рождения королевы Виктории (1819–1901).

4

Лондонский муниципалитет, координировал деятельность советов 32 городских районов и Сити с 1965 по 1986 г.

5

Герой последнего романа американского писателя Хермана Мелвилла (1819–1891) «Билли Бадд, формарсовый», опубликованного посмертно в 1924 г.

6

Книга (1949) французской писательницы-экзистенциалистки Симоны де Бовуар (1908–1986), один из основополагающих трудов по феминизму.

7

Герой одноименного романа (1841) Чарльза Диккенса (1812–1870).

8

Милостыня, подаяние (фр.).

9

Персонажи повести-притчи французского писателя Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), впервые опубликованной в 1788 г. в его философском трактате «Этюды о природе».

Купить: https://tellnovel.com/ru/karter_andzhela/lyubov

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить